

В.В. Розанов

Может ли быть мозаична историческая культура?

По изданию: Собрание сочинений. Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского. Литературные очерки. Том 7. Москва, 1996 г.

Впервые опубликовано в газете «Московские Ведомости» №199, 1892 г. под одноименным названием.

I

Я заметил, что главный недостаток людей шестидесятых годов заключался в слабой вдумчивости, в отсутствии какой-либо сложности, какого-либо узора в их мышлении. В ответ на это замечание г. Н. К. Михайловский упрекнул меня, что, развивая свои положения, я не подтверждаю их примерами. Но вот в другой своей статье он дает мне случай сделать требуемую поправку, а самый предмет этой статьи так важен, слова, в которых он обсуждается, столь многозначительны, что более удобного случая для подобной поправки я не мог бы и ожидать. Есть в самом деле сложные и трудные темы, обсуждая которые в продолжительных спорах и все еще путаясь в потемках, спорящие неожиданно, случайно, произносят такое слово, в смысле которого разом открывается и смысл всей темы: только относительно его согласиться, принять или отвергнуть этот смысл — и спор решен. Г. Михайловскому именно случилось высказать такое слово. Обсуждая старый и вечно тревожный вопрос о нашем отношении к Западу, он говорит:

Задача наша не в том, чтобы вырастить непременно самобытную цивилизацию из собственных национальных недр, но и не в том, чтобы перенести на себя западную цивилизацию целиком со всеми раздирающими ее противоречиями: *надо брать хорошее отовсюду, откуда можно*, а свое оно будет или чужое — это уже вопрос не принципа, а практического удобства. *По-видимому, это столь просто, ясно и понятно, что и разговаривать не о чем*. Но очень часто бывает, что простые и понятные вещи с большим трудом завоевывают себе место в природе и в умах человеческих¹.

¹ «Русская мысль»; «Литература и Жизнь», 1892, июнь.

Несколько тысячелетий люди думали, и каждый человек мог проверить собственными глазами это убеждение, что солнце ежедневно поднимается из-за горизонта и ежедневно же заходит за него, описывая величественный круг над неподвижно покоящейся землей. Это было не только "просто, ясно и понятно" — это было видимо, как виден вот этот лес, пред которым я стою. Но велик был подвиг Коперника, когда, усомнившись в этой ясной, видимой действительности, он предположил ей совершенно обратное; велико было движение в нем мысли, и от этого движения ведет свое начало истинное ведение человека о себе и о мире.

По общности предмета, по важности его для всего человечества мы, конечно, не решимся сравнивать идеи славянофилов с сомнением Коперника; но по исходной точке, по отношению к действительному и кажущемуся их мысль, их требования в самом деле имеют много аналогичного с его мыслью. Они также имели мужество только усомниться в некоторых "очевидных" истинах; это подняло против них смех и злобу, и, к их великому горю, они не имели под руками ни измерительных приборов, ни математического счисления, чтобы заставить стихнуть эту злобу и этот смех. По самому предмету своему, каковым была история, они могли действовать лишь путем гораздо менее точного и ясного рассуждения; но как можно было заставить всех войти в этот трудный и сложный круг мысли?

"Надо брать хорошее отовсюду, откуда можно" — эта мысль, по-видимому, элементарно справедлива. На ней, именно, основывался весь ход нашей истории от Петра Великого, который "брал хорошее отовсюду", без каких-либо сомнений: и на ней же держится все учение западников, не понимающих, почему и впредь мы не должны бы брать хорошее везде, где можно.

Но вот и сомнение. Архитекторы нашего времени, так долго готовящиеся к своему делу, прежде, нежели приступают к нему, тщательно изучают историю зодчества во всех странах и у всех народов. Стиль китайских пагод и греческих ордеров, наконец, византийский, романский и готический — им равно и хорошо известны. По-видимому, они должны бы, при этом богатстве выбора, при точности и разнообразии сведений своих, создавать лучшее, изящнейшее, нежели что создано было когда-либо в сфере зодчества. Мы верим, что г. Михайловский чистосердечен и правдив: пусть же он подумает, почему эти архитекторы, несмотря на все усилия, не могут создать чего-нибудь хоть приблизительно равного по мощи, по красоте, по вечности тем памятникам, подражать которым и комбинировать которые они свободны?

Здесь и лежит центр спора между славянофилами и западниками. Западники не могут понять, почему нельзя брать "хорошее отовсюду";

славянофилы — хорошо понимая априорную ясность этой мысли при взгляде, при вдумчивости в процесс таинственного роста народов сказали: "Нет, они не растут эклектически; они не набираются, смотря по сторонам, наилучшего со всех сторон; все, что было и есть в истории великого, священного, истинно живого, развивается из своих недр; каждое дерево растет только из своего семени".

Мы упомянули об эклектизме, и это понятие с новой стороны может уяснить занимающую нас тему: не известно ли г. Михайловскому, что на развалинах философских систем, столь нетерпимых одна к другой, столь исключительных обычно, появляются *эклектики*, которые, изучая все предшествующие системы, избирают из них наиболее совершенные и, согласуя их между собою, соединяя в трудах своих наилучшее из каждой системы, создают новые учения? Но долговечны ли они, но значащи ли? О, г. Михайловский не "эклектик": он не допустит рядом с известным утверждением лежать другому, из чужого огорода. Он понимает, что такое "целость"; а если он понимает это в воззрениях, то не может не понять и в истории, а с тем вместе — и не принять всей славянофильской точки зрения.

II

Вся разница между славянофилами и западниками заключается в том, что взгляд первых на историю есть органический, а вторые смотрят на нее как на простое механическое делание. В ряде собственных рассуждений¹ г. Михайловский сам устанавливает некоторые существенные положения органического воззрения: он говорит, что в жизни народной, как и в развитии каждого живого существа, нужно различать *степень* развития от его *типа*; и то, что по степени может быть выше другого, по типу *в то же самое время* может быть неизмеримо его ниже. Так, поясняет он, всякое взрослое животное богатством, силой и разнообразием своих проявлений превосходит новорожденное дитя человека; кажется, что оно превосходит его и обилием душевной жизни. Но все это превосходство относится лишь к позднейшей степени его развития; возьмем *тип* развития, то есть дитя человеческое со всею суммой лежащих в нем *задатков*, и мы увидим, как всякое животное бедно сравнительно с ним.

Признаюсь, прочитав несколько лет тому назад это рассуждение, я удивился, как мало, в сущности, остается между этим воззрением и самими заветными надеждами славянофилов. Поистине, только разные

¹ В «Сборнике статей» о графе Л. Толстом.

"любви" и "ненависти", имеющие предметом частности нашей действительности, мешают слиться двум самым значащим течениям нашей истории.

"По типу, — говорит г. Михайловский, — несмотря на очевидную элементарность степени, данное развивающееся существо может быть выше другого, стоящего уже на высшей ступени развития, но развития более грубого и несовершенного типа". Неужели не согласится он, что *антагонизм*, что *потребность победы* есть истинный стимул всего западного исторического движения, что именно он составляет *тип*, по которому эта история движется? Неужели напоминать патрициев и плебеев, оптиматов и пролетариев, Италию и пожираемые ею провинции, чтобы согласиться в этом относительно Рима? Неужели говорить о государстве и церкви, феодальном строе и королевской власти, католицизме и реформации, монархии и революции, капитализме и нищенстве, чтобы согласиться в этом относительно христианской Европы? Ведь здесь *вся* история, без какого-либо остатка, — и в каждой части этой, во всяком биении своего пульса, Европа внутренне боролась, с жаждой или умереть, или победить. В неизъяснимой красоте этой борьбы, в величии результатов ее — кто будет сомневаться? Скажем более: кто возьмет на себя мужество осудить эту борьбу, если она так ясно была заложена в самом семени, из которого выросло чудное, двухтысячелетнее дерево европейской цивилизации?

Но кто же будет иметь силы отвергнуть, что антагонизм, что борьба, с высшей человеческой точки зрения, для сердца нашего, есть низшее, чем примирение? Что, как бы прекрасны ни были борющиеся в напряжении своих сил, — в тот миг, когда они подадут друг другу руку, они будут лучше и прекраснее? В конце концов борьба есть лишь состояние, то есть нечто временное; она полна неудовлетворительности и, следовательно, стремления из нее выйти. Этот выход, это завершение должно же быть для человека и его истории, как оно есть для всего развивающегося, которое непременно *во что-нибудь* развивается. Для антагонизма — хотя бы он длился тысячелетие — этот исход, эта венчающая глава, по самому смыслу его, по тяготению, — есть примирение: не насильственное, не то умиротворение, когда противника уже нет, когда он стерт с лица земли; но когда он признан в своей особой правоте и сам признал правоту другого, с которым боролся.

Сказать, что началом мира проникнута была русская история, — никто не решится; и человек, в утробе своей матери проходя различные фазы, бывает в некоторых из них похож на то или другое животное. Но в том, куда он выходит из этих фаз, к чему стремится, *в типе своего развития* — он есть человек. Так точно лишь в незначительной мере в

фактах, но гораздо более в стремлении, в заветных своих чаяниях, в том, что *полагается окончательным*, — народ русский проникнут началом именно гармонии, именно примирения.

III

Но это относится уже к точному смыслу той культуры, которая во всяком случае — вся в ожидании еще; спор же славянофилов ведется главным образом не о нем, но только о необходимости для каждого исторического народа соблюдать цельность в своем возрастании, а следовательно, и внутреннее воздержание от заимствований, даже когда они идут от народов, достигших гораздо высшей *степени* развития, но по иному его *типу*. Только в этом одном состоит весь спор, и не может, не отрекаясь от своих же размышлений, не затирая ради раздражения сердца плодов своей же умственной работы, отвергнуть г. Михайловский коренную правоту их учения.

Но эта правота, как мы заметили вначале, требует для обнаружения своего некоторого напряжения мысли временного сомнения в так называемых "элементарных и очевидных истинах". В нежелании громадного большинства людей сколько-нибудь напрягать свою мысль и лежит вся причина нераспространенности учения славянофилов: учение западников, все покоясь на повторении общих мест, гораздо понятнее, усвоимее, доступнее самому элементарному уму. В этом причина их успеха, но только в настоящем; в будущем же, как только усложнится наша общественная мысль, их несостоятельность станет очевидна.

Очевидно станет для всякого, что при стремлении к некоторым абсолютным целям, общим для всего человечества, — к добру, к свободе, к истине, — каждый народ старается достигнуть их своим особым путем, в своеобразных формах и своеобразными способами. Достигнуть свободы можно и *принудив* дать ее, и *выждав*, когда крепостящий сам поймет, что она выше рабства. Убедить в своих мнениях другого можно и запугивая его мысль, действуя на ее робость. Так поступает сатира, но поистине, чего бы ни достигла она — лучше было бы, если б ее никогда не появлялось, потому что той же цели можно достигнуть, ободряя противника, заставляя его высказаться до конца и до конца же высказывая ему свои убеждения, — это имеет еще и ту добрую сторону, что всегда открывает возможность и самому несколько поправиться. Наконец, если перейти к материальным "нуждам большинства населения" — какими бы страданиями они ни сопровождались, как бы ни было много несправедливости в недостаточной поспешности их удовлетворить, — все-таки было бы лучше, если б они были удовлетворены так

же, как удовлетворен, через два века страдания, не менее тяготивший народ вопрос о расколе. Есть церковь единоверческая, и, Бог даст, будет *одна* церковь, в которую войдет, как *одной веры*, всякий человек, который теперь еще отличается именем "единоверца".

Ни для римского пролетариата, ни для протеста в недрах католичества, ни для нищенства нашего века, конечно, не было и не будет найдено, *на особой почве их требований*, какого-либо "единоверия". И они, громадные массы людей и с ними лучшие надежды истории, погибли — потому только, что боролись, что не умели страдать и выносить. Тот факт, что всякое перенесенное страдание ничем и не решалось, и никакого для себя исхода не получало, — есть самый удивительный факт в истории, и, мне думается, он вместе с тем и самый поучительный факт для всякого народа, у которого главное — еще в будущем.

IV

Но мы опять уклонились в сторону — к тому, что может составить отличительную черту нашей истории. Не в этом дело, но в том, что, какова бы ни была эта черта, она должна быть строго выдерживаема в развитии. Мы снова возвращаемся к мысли г. Михайловского об эклектизме в истории и, сопоставляя ее с гораздо лучшею (потому что более сложною) его мыслью о типе развития, спрашиваем: неужели этот тип не будет нарушен, если развивающийся организм будет ради улучшения своего в данную преходящую фазу брать отовсюду кусочки живой ткани от других организмов и заменять ими части собственного существа? Не ясно ли, что он изранит только себя, что он умрет гораздо ранее, чем достигнет зрелости в том особом типе развития, по которому течет и уже не может не течь его жизнь?

Понятна ли теперь та мучительность, которую внушает собою эта теория эклектизма всякому, кто имеет понятие о началах органического развития? Правила, удобные для того, чтобы, руководясь ими, составить мозаику, прилагаются к неизмеримо более сложному, трудному и таинственному живому росту. Эти правила, соблазняющие своею простотой, уже два века прилагаются к нашему народу, и после всех страданий, всех неудач, всей горечи, какая чувствуется от этого в жизни, находятся настолько "элементарные" умы, что все еще не могут переступить за свои "простые и ясные мысли".

К числу этих "элементарных" принадлежали и люди 60-х годов. Повторим то, что уже говорили раньше: ни в неустанной деятельности, ни в настойчивости, ни в готовности жертвовать собою у них не было недостатка. Но *как* жертвовать, *но за что* бороться, *но чем* следует сози-

дать — этого они не понимали. Общие для всех людей идеалы, которых, как света солнечного, не видеть нельзя и они видели; но безумец или неосмысленный ребенок был бы тот, кто, видя солнце, полез бы к нему, надеясь схватить его руками, и преступник был бы тот, кто, чтобы построить для этого лестницу, начал бы рубить дерево, согреваемое, освещаемое этим солнцем, с ним взаимодействующее и только до него не достающее.

Эта доля преступности лежит и на той особой группе людей, к которой собственно прилагается имя "людей 60-х годов", но они были лишь самые яркие в своей эпохе — неосмысленна же была вся она. Г. Михайловский говорит, и не однажды, о светлом, радостном духе, с которым начиналась эта эпоха. Действительно, только один момент в нашей истории аналогичен с нею по настроению, по ожиданиям, по какому-то единящему духу, проникавшему все сердце от верха до низу: это первые годы царения Грозного. Но в покаянной речи мудрого царя перед народом, когда с лобного места он говорил о своих винах, и о чужих преступлениях, и о невыносимых долее страданиях "сирот своих", простого народа, — как много было смысла и достоинства, если сравнить ее с нашею "обличительною литературой", конечно правою, но так мелко злобною, так напоминающею те собачьи головы, с которыми позднее ездили опричники, "выметая сор из отечества". И далее, в земском, в стоглавом соборах, в вопросных пунктах и в речах на них, как много опять было ума и обдуманности, сравнительно с разными (кто помнит имя их?) комиссиями 60-х годов. Конечно, все это было в значительной мере элементарно, но ведь это же было три с половиной века назад. И если бы тот порыв обновления, при взрыве которого жили 60-е года, вызвал и сам обновление в том же духе, как оно совершилось при юном и удивительно мудром царе, но с соответствующею поздней фазе развития сложностью и массивностью замыслов, — были ли бы мы там же, где теперь? То ли бы говорили? О том ли сожалели? Этот частный пример показывает, что значит "при общих целях" стремиться к ним по особому для каждого народа типу развития. В тысячелетней истории народ наш привык всякое дело делать благословясь, с оглядкой, а не спросонья, не с неумытыми руками, не бросаясь растерянно во все стороны. И не "праздником праздник" вышел, как говорит мой противник; нет, это неправда, вышла в действительности сутолока, и кровь, и треск по всем швам раздираемого здания.

Как дерево, возрастая, осуществляет в величине своей, в форме, в цветорасположении, даже в наружном цвете коры те именно особенности, которые таились уже в семени, глухо лежавшем в земле и давшем ему жизнь; как композитор в каждой последующей части своего произ-

ведения только богаче, только многообразнее и глубже выражает мотив, элементарно заложенный уже в первых звуках симфонии, — так точно, ни в чем не отступая от этих общих законов органического созидания, и каждый народ, век за веком возводя свою историю, должен строго наблюдать, чтобы ни одна часть в ней не была в дисгармонии с остальными, чтобы в их смысле, в духе, во внешних чертах развивался все один мотив, все тот же вековечный смысл, выразить который пред лицом остального человечества он, очевидно, призван Волею, вызвавшей его к бытию. Бытовая форма его, как и учреждения, его церковь с тысячелетними преданиями и образ правления — все, что бы ни взяли мы в его функциях, внешних и внутренних, должно не разбегаться от центра, разрывая его существо, но быть обращено своим строем, своим вниманием к этому центру, к его смыслу, — и тогда только будет он "целое", а не набор случайно и непрочно соединенных частей.

Было ли понято это в 60-е годы? Результатом ли такого органического созидания является новейшая Россия, получившая свой теперешний вид тридцать лет назад? Византийская церковь, французские суды, германское воспитание, английское местное самоуправление и только русская самодержавная власть — могло ли и может ли все это существовать одно возле другого, без некоторого тонкого антагонизма, хотя бы выраженного, до времени, в индифферентизме каждой части к остальным? Не носит ли здесь всякая часть свой особый принцип, привнесенный ею с целого организма, из которого она взята, и не будет ли усиливаться она распространить его на целый же организм, ставший для нее новою родиной? Не отразится ли это неуловимо на внутренней устойчивости, на прочности всякого индивидуального существования, семейного быта, личного мирозерцания? В течение тридцати лет не видели ли мы обильного роста плодов именно в этом направлении, с которым упорно и бессильно боролись, вовсе не догадываясь устранить порождавшее его условие?

В. Розанов